



БОГОМАЗЫ

Б ы л ь

ГДЕ-ТО НА СЕВЕРЕ, между Вологодой и Архангельском, в одном станционном поселке, живет-поживает бывший редактор районной газеты некто Михайло Степанович Холодилов. Достигнув пенсионного возраста, Михаил Степанович ушел на предусмотренный законом отдых.

Побывал он на курорте, у замужних дочерей погостил — все не то. Надо чем-то увлечься. И вот в журнале «Здоровье» Холодилов как-то прочел научную статью одного медика о том, что «целенаправленная деятельность тормозит процесс старения. Родные и близкие должны поддерживать у стариков любой их интерес. Пусть это будет увлечение огородом или садом, рыбалкой или разведением цветов, собиранием марок или редких книг...»

Михайло Степанович занялся нумизматикой. О собирании старинных русских монет, нагрудных и настольных медалей он написал и поместил в районной газете толковую статейку. Многие, узнав об этой страсти и привязанности Холодилова к нумизматике, стали приносить ему монеты времен всех царей и даже древнерусских удельных княжеств. Особенно отличались в этом школьники, получавшие от Михайла Степановича за старые монеты новые настоящие деньги.

Страстное увлечение Холодилова нумизматикой оказалось выше чем потеха. Коллекция разрослась до таких величавых размеров, что областной музей предложил владельцу устроить выставку. О выставке писали в газетах, говорили по радио, показывали холодиловские сокровища в кино и по телевидению.

Узнал об этом культурном достижении Холодилова его старый приятель из Шуйского Междуречья, преклонного возраста пенсионер Самобыткин, и написал он Михайлу Степановичу письмо, а в письме рассказал о том, что он имеет три хорошие иконы — (триптих-дейсус), обнаруженные на чердаке после смерти одной старушки, прятавшей и хранившей эти иконы от постороннего глаза, дабы в порядке воинственной антирелигиозной пропаганды их не уничтожили. «Приезжай, Миша, и забери иконы бесплатно, — писал Самобыткин. — Тебе, как коллекционеру, к монетам да к медалям и боги — туз к масти».

Михайло Степанович приехал к другу. Они не виделись полных тридцать лет. Хотя и были оба с надломленным здоровьем, все же при встрече старались показаться один другому во всей бодрости и жизненной радости.

Михайло выставил поллитровку. Самобыткин развел на шестке костер из щепок, водрузил широкую сковороду и зажарил в ней на сметане два увесистых сухонских судака, два язя и редкую гостью здешней реки — стерлядку. Поллитровка осталась нетронутой, оказалось, что оба старичка — трезвенники, берегут здоровье.

После обильного угощения и беглых разговоров о том, кто где в войну побывал, кто сколько и каких орденов и медалей заслужил, кто и сколько детей и внуков накопил, Самобыткин повел Михайла Степановича в сени и по крутой лестнице на чердак. Там при свете мезонного оконца они кое-как извлекли из-под кучи старого тряпья и засохших веников все три довольно крупных, писанных на деревянных досках иконы. Затем их Холодиллов слегка, со всей осторожностью, каждую с обеих сторон очистил от куриного закаменевшего помета и бережно перенес в избу.

— Рад, что тебе эти доски полюбились, забирай! — весело сказал Самобыткин. — Обмывай и увози в полное свое распоряжение...

— По моему приблизительному мнению, — изрек глубокомысленно и загадочно Холодиллов, — центральные, крупные три лика написаны в петровские времена, а может, и раньше. А вот эти разноцветные клейма-миниатюры по краям написаны, вроде бы, другим почерком и гораздо позже...

— Не стану я спорить, но скажу, — возразил Самобыткин, — чувял я от мужиков как-то, да позабыл подробности. Будто бы эти штуки малевали два художника за три сотни рублей по заказу купца Шляпкина перед той войной, до девятьсот сорокадвух годов. Так что эти «боженята» помоложе нас с тобой лет на десять-пятнадцать...

— А манера старая. Надо в Вологде у знатоков спросить. Те определяют сразу. Не то Бурмагин, не то Корбаков, оба доки по этой части, — рассудил Холодиллов и попросил у Самобыткина старых газет и мешковины упаковать ценный подарок...

На обратном пути через Вологду Холодиллов не нашел художника Бурмагина: тот находится «на этюдах» за городом, а Корбаков, запершись на два замка, поспешно изображал к областной выставке одного борродатого писателя, обласканного вниманием критики. Так что Михайлу Степановичу не довелось показать в Вологде радующее его приобретение. Пыхтя и надсаждаясь, в поте лица, на своем старческом хребте пронес он триптих с пристани на вокзал и через несколько часов был у себя дома, в райцентре.

В НАЧАЛЕ СВОЕГО РАССКАЗА я забыл предупредить читателя о том, что Холодиллов является моим давнишним добрым другом, которому можно в глаза сказать обидную правду, — не рассердится.

В те дни, когда Михайло Степанович ездил в Междуречье за иконами, со мной случилось несчастье — инфаркт.

Однажды в больницу мне принесли письмо. Узнав о моей внезапной и нелегкой болезни, писал Михайло Степанович Холодиллов:

«Дорогой дядя Костя! До меня дошли слухи, что тебя свалил коварный инфаркт. Смотри, не поддавайся. Ты человек некурящий, малопьющий, с веселым жизнерадостным характером, к тому же целеустремленный в делах творческих, я уверен, выдюжишь. Поднимешься и поработаешь. Но и впредь остерегайся. Силы будут не те. Придется трудиться в меру сил. А чтоб тебе было сейчас приятно и радостно, я приготовил для тебя интересный подарок, из трех икон состоящий, — триптих. Спаситель, Креститель и Богородица.

Что это за вещь — определяй сам, как увидишь. Отныне триптих твой, а вышло его посылкой, когда ты из поликлиники вернешься домой. Будь здоров и рассчитывай на долгое и полезное для общества житие. Крепко жму руку. Твой Михайло Холодильов. 29 июля 67 г.»

Конечно, я был очень доволен подарком и счел нужным ответить Холодильову «отдарком». Поправившись, я послал ему в коллекцию пятнадцать серебряных целковых прошлого века и двадцать штук настоящих исторических медалей и письмо с благодарностью.

Долго и внимательно всматривался я в лики главных фигур, припоминал, где же и когда подобные иконы, а быть может, эти самые видел и даже в подробностях слышал о происхождении их?.. Прошлое в памяти стариков, склонных к склерозу, держится долго и прочно. И, не особенно напрягая память, я вспомнил, как, будучи в Междуречье в двадцать восьмом году, в одной из деревень собрание постановило убрать с часовни главу с крестом, а помещение освободить от икон и занять его под пожарное депо. Накануне собрания я был в часовне и видел, не ошибаюсь, именно этот самый триптих в киоте и перед ним две тяжелых лампы на медных цепях.

На другой день, едва успели засохнуть чернила на протоколе о закрытии часовни и организации пожарного депо, как в сумеречный час все иконы, большие и малые, лампы и подсвечники — все до мелочей исчезло из часовни и укрылось в деревне у тех, кто еще не совсем окончательно разошелся с богом.

Произошло «чудесное» исчезновение этого триптиха. Разыскивать никто не стал. Главное — согласно общему решению — часовня ликвидирована, пожарное депо открыто... Вот тогда-то сельсоветский сторож, старик преклонных лет, человек с крепкой памятью и добротным северным говорком, и рассказал мне, как и почему отказался шуйский поп освящать эти три иконы, не принял их в церковь, а заказчик — торгош Шляпкин — уступил иконы старосте часовни за триста рублей...

СЛУЧИЛОСЬ ЭТО в 1910 году, весной, как только пошли из Вологды первые пароходы в Великий Устюг. Шуйские купчики давно ждали открытия навигации, дабы завезти в свои магазины товары по Сухоне в любом количестве и по дешевке за доставку.

На вологодской пристани толкались на погрузке товаров — тюков, бочек, ящиков и мешков — торгоши Греков и Глазырин, Турандин и Чемин, Афанасьев и Шляпкин. Они совали чаевые — кто больше даст, тот и первый, — пристанщику и матросам-грузчикам. Что не вместилось — осталось до будущего рейса. Пронырливый Шляпкин успел раньше остальных втиснуть закупленные товары в трюм пузатого колесного парохода «Братья Варакины» и после первого свистка в оконце почтальона сунул телеграмму, адресованную своей супруге: «Завтра субботу приезжаю приготовь возчиков пристани истопи баню целую Николай Шляпкин».

В четырехместной каюте первого класса, когда боком пролез туда тучный Шляпкин, уже сидели два пассажира.

— Мир путем-дорогой, здравствуйте, господа! — поздоровался Шляпкин и добавил, пожимая им руки: — Будем знакомиться. Я купец второй гильдии из Шуйского Междуречья, а звать меня Николай Васильевич, как Гоголя, не забудьте, а по фамилии Шляпкин. А вы кто будете?..

— Мы-то? Не богатого сословия, — отвечал старший из них, лет шестидесяти благообразный мужик, — родом из по ту сторону Иваново-Вознесенского. Меня зовут Северьян Петрович Светлозаров, а этого, моего товарища, Евграшей звать, Боголюбов ему фамилия. Не смотрите,

что молодец он с виду, а талант у него пресветлейший. Не человек, а настоящее божье озарение. Кстати сказать, мы хоть не из богатых, как вы, а на судьбу не в обиде. Мы художники, грубо говоря, богомазы-отходники.

— Доброе дело! Очень рад с такими людьми познакомиться. Сюда я ехал один-одинешенек в четырехместной каюте. Не с кем было словом обмолвиться, скука! А теперь попутчики, да какие! Весьма приятно. Куда путь держите?

— Пока до Тотьмы, там работенка есть: подновить иконы, стенную живопись подправить. Где церковей много, там и дела много. Мы без заработка дня не проводим. Из Тотьмы в Устюг подадимся...

— Отлично! — воскликнул Шляпкин, скидывая с себя драповое пальто, — давайте сразу договоримся: ни в какую Тотьму, ни в какой Устюг вы не поедете. Зачем? Коль на пути богатое село Шуйское. Да мы вам работы найдем на целое лето и на осень хватит. Конечно, если у вас золотые руки. У нас в селе три церкви. Дела вам будет по горло. Мы должны в церквях нарядность произвести. Время требует этого: на будущий год полвека со дня освобождения крестьянства от крепостной зависимости, еще через год — столетие со времени нашей победы над Наполеоном, а через два года — триста лет дому Романовых. Разве к таким юбилеям не должны быть храмы в благолепии? А денег у нас на это дело — хоть завались.

— Как ты, Евграша, смотришь? Может, сойдем в Шуйском? — спросил Северьян.

— А мне все равно, — лениво ответил Боголюбов, укладываясь на нижней полке.

— Сойдем, посмотрим, а там видно будет. Не полюбится — поедем дальше.

— Полюбится! — заверил Шляпкин. — Я вижу, вы народ — не пустобрехи. Полюбится...

Трехкратный свисток, и «Братья Варакины», хрустнув бортом о пристань, отвалили и, шлепая плечами, двинулись мимо заставленных баржами вологодских берегов. Скоро начались лиственные, пока еще голые, не покрытые зеленью леса. Холодный ветер не привлекал пассажиров на палубу, да и любоваться было не на что: мутная студеная река. Сумрачное небо с дождливыми облаками. Пронизывающий ветер прижимает дым из трубы к палубе и рассеивает мелкими угольками потухшие искры. В такое время — начала навигации на Севере, самое лучшее, что можно придумать — сидеть в каюте и выпивать.

Шляпкин, осушая бутылку шустовского коньяку и плотно закусывая, молод, что на язык попадало. Лишь бы слушали. А Северьян и Евграша в людях бывали, много знали, тоже умели поговорить, но и слушать, поддакивая и нарочито удивляясь, на ус наматывая, их не учить.

— И вот, значит, братцы мои, — захмелев, начал Шляпкин, — из простых-то мужиков, из крепостных и в гильдейские купцы! Мало того: замещаю церковного старосту. Захочу и в старосты угадаю. Да, господа вы хорошие, божьи промышленники. Хорошее у вас ремесло! Без таланту в вашем деле ни шагу. Бога нарисовать, чтоб на него молились — это не то, что сапоги шить либо валенки скатать, или печь из глины слепить. Торгашей, нашего брата, — пруд пруди, а богомазов у нас во всей губернии я не знаю ни одного. А что редко, то и дорого. Поди-ко, здорово зашибаете? А? Скупитесь. Жрете селедочку да луковицу... Сейчас время пахать да сеять, а вы к сохе не привыкли. Видите ли, малевать отправились. Правильно. И я бы так на вашем месте поступил, не будь Шляпкиным второй гильдии. Да-с!.. Отец мой, царство ему небесное, произвел

меня в купцы, сам был закупщиком тряпья для бумажного фабриканта. Барками в Питер тряпье отправляли. Ну и торговлишку имел, а фамилия — по нему — была Тряпкин. Он умер. Я четвертной билет уряднику: «Помоги фамилию сменить, не хочу быть Тряпкиным, лучше — Шляпкиным». «Почему, — говорит, — Шляпкиным?» «А потому, — я ему говорю, — что на вывесках лавки и склада понадобится только две буквы переписать, вместо ТЭ и РЭ поставить ШЭ и ЛЭ». За деньги все можно! Заказал штампель с новой фамилией, бланки счетов фирменные, в газете пропечатал объявление. Нет Тряпкина, есть Шляпкин!.. Будьте знакомы!..

— Ухарь! — кротко определил Евграша Боголюбов, — хоть картину пиши. Натура готовая, нараспашку. Представляю вас в веселой компании, Николай Васильевич, вы, наверно, любого молодца с ног собьете и за пояс заткнете?

— Вот именно! — подхватил Шляпкин. — На-ко, пощупай мои мускулы. Во! А вот кулак. Попробуй ущипни на нем кожу или укуси. Не выйдет, не выйдет. Ха!

— Сила! Что те Олеша Попович. До Ильи Муромца, конечно, далеко. Сколько вам лет? — спросил Светлозаров.

— Угадай.

— Да, судя по бороде и по глазам, полсотни есть.

— На-ко, выкуси! — ответил Шляпкин и снова показал увесистый кулачище. — А шестьдесят пять не хотите? Ха-ха-ха, ну и знаток! На пятнадцать годов прочитался.

— Удивительно! Хоть бы рассказали, как это умеете себя беречь? Вроде бы и хмельным не брезгуете...

— Ничем, кроме поганого табачища, не брезгую. Хотя на продажу табачных изделий дозволение имею. Вот ты говоришь, как и чем умею себя беречь? Расскажу по этому вопросу исторический факт... — Шляпкин выпил стаканчик коньяку, прожевал кусок колбасы и продолжал: — Был, значит, случай в Питере, на Марсовом Поле. Царь-освободитель, дед теперешнего царя, делал смотр гвардейским ротам. А его величество был строгий блюститель порядков и хотел, чтоб солдаты бережно относились к своему здоровью. Построили первую роту молодцов. На правом фланге саженный бородач, кровь с молоком. Витязь да и только. Царь его спрашивает:

— Сколько лет?

— Шестьдесят пять, ваше величество.

— Курите? Вино пьете? За бабами — того?

— Никак нет, ваше величество!

— Bravo, молодец! Берите, солдаты, с него пример, и вы будете жить долго и силу хранить на одоление врагов...

Построил вторую гвардейскую роту. И опять с правого флангу старый могучий солдат, еще выше ростом того, седой, борода чуть не до пула, лонатой, ровно подстрижена, усы закручены...

— Как фамилия, солдатик?

— Богатырев, ваше величество.

— Правильная фамилия. Сколько лет?

— Семьдесят восемь, ваше величество, участник Крымской кампании.

— Хорошо, солдат, ветеран. Награды есть?

— Отмечен медалькой, ваше величество.

— Правильно! Не курите? Не пьете, с женщинами — не того?

— Никак нет, ваше величество, и того, и сего, и этого самого, всем пользуюсь, только тем и живу... — Шляпкин весело засмеялся и добавил: — Вот и я тоже: *только тем и живу*. Ну, сами понимаете, в еде себе

отказа не имею. И еще люблю баньку! Знали бы, какая у меня баня! Во всем уезде и в Вологде нет такой.

Купец второй гильдии стал описывать свою баню:

— Во-первых, на берегу реки. В нынешний ледоход, черт его побери, льдиной предбанник снесло. Плотники заново сделали, пять красненьких убытка. Полки, верхний и нижний, из липовых досок, лощеные, как зеркало. От горячей воды липа дает особый запах. Медный котел в печь вмазан с крантом, на сорок ведер воды. За печкой каменка: серый дресвяный, рассыпчатый камень. Плеснешь шайкой воды — потолочины прыгают. Стены потрескивают, так и кажется: были бы под баней колеса, от собственного пара покатились бы. А знаете, если брызнуть на раскаленные камни ковш хлебного квасу... Эге, не знаете, вас бы тогда из бани колом не выгнать. Запах! Аромат, прелесть. Ложусь я тогда на нижний полок, веник под голову и дремлю, блаженствую. А потом, в летнюю-то пору, нырну в Сухону и снова в баньку. Зимой в снегу покувыркаюсь раз-два-три, и снова под веник. Прошпарюсь — никакая хворь не берет. Сам губернатор Хвостов в моей бане чуть насмерть не запарился. Нашатырным спиртом еле отводились; отнюхался, глаза на лоб. Да что губернатор, чепуха! Сам епископ Александр Вологодский и Тотемский во время своего объезда епархии захотел попариться в моей бане. Целый час, лежа на брюхе, воздыхал на нижнем полке. Я ему собственноручно свежим веничком спину натирал!

— Епископу? — удивился Северьян.

— Да, самому епископу. Ну, братцы, и тело у него белое-белое, как треска несмоленая. Лежит да крикает. Ну и поддал я ему. Знай наших. Во — банька! Хотите, завтра я вас, господа, баней угощу, век не забудете Шляпкина.

— Что ж, Евграша, сойдем в Шуйском?

— Сойдем, Северьян Петрович.

— Не пожалеете, ребята, — одобрил их решение купец.

За окном четырехместной каюты сгущались весенние сумерки. На нижней палубе, на ящиках и бочках сидели пассажиры третьего класса. Пиликала гармошка — или как спутница скромного веселья, а иногда уныло и печально, в зависимости от настроения молодых людей.

Опустели бутылки, объедки выброшены за окно. Пора отходить ко сну.

Художники легли, не раздеваясь, сняв сапоги и распространив в каюте крепкий запах потных ног и отсыревших портянок.

На нижнее место Шляпкину принесли одеяло, простыню и подушку. Он разделся до нижнего белья. Из кармана пиджака вынул кожаный бумажник и спрятал под подушку. Береженое и бог бережет, подальше положишь — поближе возьмешь. Погасла под потолком запутанная проволокой электрическая лампочка. Наступила короткая весенняя ночь.

Перед утром затуманило. Пароход ткнулся носом в берег. Капитан спокойно ушел в каюту схрануть до рассвета, как бы в туманную пору на Сухоне не врезаться на мель, не наделать беды. И пассажиры третьего класса, словно сонные мухи, замерли, где попало, кто на дровах, кто по-счастливей — на мешках, а больше всего под ногами в проходах лежали навалом и спали крепко.

Крепким купеческим сном дрыхнул после бутылки коньяку Шляпкин. Разметав одеяло, он, не пробуждаясь, всей пятерней почесывал вздутый живот. С просвистом храпел и Северьян на верхней полке. Только беспокойно, открыв глаза, лежал ниже Северьяна Евграша. И это беспокойство было вызвано тем, что он увидел на полу выпавший из-под изголовья Шляпкина бумажник. «Что делать? Владелец бумажника пьян, едва ли

он знает, сколько у него денег; счастье само в руки лезет, как быть?» — думал Евграф Боголюбов. Этот молодой и даровитый мастер своего дела, иконописец, был не промах. Он надоумился поднять бумажник, проверить, что в нем находится, и, совершив некую операцию, положил бумажник на пол, где он лежал, и стал тихонько будить Шляпкина.

— Николай Васильевич, господин купец, очнитесь...

Шляпкин почмокал влажными губами и отвернулся лицом к стенке.

— Я говорю, очнитесь, у вас бумажник выпал, на полу валяется, поднимите...

Шляпкин изогнулся, подпрыгнул, как напружиненный, сел и вытаращил глаза на Евграфку:

— Бумажник!? Как? Где?..

— Да вот на полу.

— Гм, как это могло? Ужели головой проелозил? Ну, спасибо, братец. Надеюсь, все в порядке, как есть.

Шляпкину неудобно проверить сразу содержимое бумажника, да он действительно и не знал точно, сколько у него осталось денег. Пролежал часа два-три в раздумье, так и не мог уснуть. Просунув ноги в штанины, обулся и пошел умываться. Там, закрывшись на крючок, заглянул в бумажник: сторублевая «катенька», семь десятков красненьких... «Кажется, так и должно быть... Зря сомневался. Богомазы — народ честный. Вишь ты, разбудил даже!» После этой проверки Шляпкин прополоскал похмельную голову и, повеселев, запел:

Эх, голова ты моя, черепушка,

До чего ж ты меня довела...

Утром все трое пили с похмелья крепкую заварку чая. Потом смели со столика крошки. Шляпкин, разложив записную книжку, начал припоминать и выкладывать приход-расход за время этой поездки в Вологду. Не стесняясь попутчиков, он вслух называл цифры и столбиком нанизывал расход за закупленные товары:

«Было денег наличными	
при себе	3500 р.
Выручено с Бурлова за	
кожевенное сырье и ов-	
чины	2150 р.
За ивовое корье с него же	200 р.
Итого капиталу	5850 р.
Из них уплачено:	
Муки белой на	760 р.
Керасину со склада Но-	
беля	190 р.
Ситцу, ластику у Свешни-	
кова	575 р.
Шнейвесу за вставление	
двух золотых зубов	25 р.
Селедок астраханских	170 р.
За проживание в «Золо-	
том якоре» и прочие	
расходы	28 р.
Даме одной за шапку с	
тремя страусовыми	
перьями	12 р.
Ей же сумочка и зонтик	7 р.
В соборе на блюдо и по-	
минки родителей	3 р.

Конфет у Попова и Лобачева да чаю Перловского	780 р.
Тоже, фирмы «Караван»	445 р.
Папирос «Кумир», махорки и спичек	380 р.
Калош фирмы «Богатырь»	280 р.
Сахару и лампасей	415 р.
Стекла оконного у Никуличева	650 р.
Железно-скобяного товара	800 р.
Кос, лопат и брусьев на	140 р.
Еще на себя израсходовано туды-сюды и матросам на чай	20 р.
Итого на сумму	5680 р.
В остатке у меня	170 р.

После подсчета стало на душе весело. Опять он промышчал какие-то сверху попавшие слова из незнаемой песни:

Эх, по московской улице
Ехал поп на курице,
Попадейка шла пешком...

— Богатому человеку всегда весело, — глубокомысленно изрек иконник Северьян. — Многонько вы, Николай Васильевич, закупили, наживете рублик на рублик...

— Где там! Нам бы копейка на копейку, и то слава богу.

— Богаты, а скупеньки, Николай Васильевич, в соборе-то только трешницу оставили.

— Важно — от души. Собор и без моих рублей богат...

— Так-то так, но другие богачи хорошо жертвуют. Вот мы с Евграшей, бывало, в Череповце богачу Милютину Николу-Чудотворца с житием писали. Он нам четыре сотни дал, да за позолоченную киоту отдал сотню и подарил в церковь с надписом от своего имени.

— Эге, Северьян, как вас, Петрович, вы человек не молодой, моих, пожалуй, лет, хоть и пожиже корпусом и потоньше карманом, а правильно подметили мою слабинку. Всего только трешку пожертвовал на поминовение родителей. А этого вы не знаете и не считаете: на сооружение памятника царю-освободителю по подписному листу я отвалил сто рублей. Хотим поставить под окнами волостного правления. А надгробный памятник над родителями с золотыми буквами, — почивают такие-то Шляпкины-Тряпкины... да чугунная оградка с медными набалдашниками по углам — триста рубликов вскочили! Это вам не трешничек, а вы говорите... Подумаешь, череповчанин Милютин, это же миллионер! Да ему тысячи все равно, что нашему брату рубли! У нас в Шуйской волости, конечно, кое у кого деньжонки водятся. Однако ни у одного торговца товару в продаже больше как тысяч на пятнадцать-двадцать не бывает. Заводчики, промышленники, банкиры — вот у кого капиталы. Взять того же Никуличева, у которого я стекло покупал, у него свой стекольный завод, лесопильный, свои пароходы... С заграницей торговлю ведет. Миллионщик! Предки были с головами и заняли в Устье Кубины выгодное место. Эти тряпками не занимались. Начали не крупно, а потом получили кредит. В умелых руках и кредит не повредит. А мы бьемся, один другого с ног сшибаем: я — Чемина, Чемин — Турандина, Турандин нож-

ку подставляет Глазырину, вот так и толкаемся, друг друга едим и тем сыты бываем... — Шляпкин вздохнул нелегко, махнул рукой, внимательно и трезво поглядел на Северьяна и Евграшу, сказал: — Пустой разговор. Давайте о другом. Итак, мы договорились: сойдете в Шуйском. Скажите, господа, какое дело вам больше любо и сподручнее? Иконы обновлять, живопись на стенах исправить или заново писать образа по особому заказу?

Северьян хитровато усмехнулся, прищуренным глазом поглядел на Шляпкина, понимающе взвесил его вопрос и деловито, разумно ответил:

— И я, и мой талантливый помощничек на дело во взглядах не расходимся. То, что я скажу, Евграша думает так же. Конечно, если работа по обновлению старых икон или фресок по штукатурке — дело денежное, сулит хороший заработок, — беремся и за это. Если же работа заново, писать изображения святых или Иисуса Христа, Богородицу и в этом духе — нам интереснее. Тут каждый раз мы для души и от души стараемся. Искусство, художество, это понимать надо! Извините за грубое сравнение, спросите любого настоящего чеботаря, что ему приятнее делать: чинить развалившиеся сапоги, до которых касаться противно, или шить новую обутку из хорошего кожаного товару? Конечно, новое делать лучше. Так и мы. И хотели бы начать с нового. Будь я на вашем месте, удивил бы всех односельчан вот так: имя ваше Николай. Прекрасно. Заказал бы написать большую икону Николы Мирликийского для переднего угла. Еще ваш собственный портрет до пояса, еще портрет здравствующего Николая Второго, и еще Гоголя Николая Васильевича!.. И все в золотых рамах под стеклом. Блеск и удивление! Сразу четыре Николая! Оригинально и остроумно...

— Забавно! Идея! Подумать надо и обсудить с женой и... урядником. В один ряд всех четырех не повесишь. Меня, скажем, и его величество. Пришлось бы по разным комнатам рассовывать: икону в главное зало, царя туда же, меня в гостиную, Гоголя-моголя можно в прихожую. Если так?.. Повременить с таким заказом надо, — рассудил Шляпкин, — это можно на «потом» оставить. У меня есть другая думка: нарисовать бы три иконы сразу: Христос посредине, Богоматерь и Креститель по бокам, а на обороте, после освящения икон в церкви, учинить надпись: «В честь пятидесятилетия освобождения крестьян от крепостной зависимости пожертвованы в шуйский воскресенский храм во спасение своей души купцом второй гильдии Николаем Васильевичем Шляпкиным за его счет и иждивение».

— Похвально! — отозвался Северьян. — Это мы с Евграшей можем для вас сделать за милую душу и за приличную мзду. Хотите, покажу вам, Николай Васильевич, утвержденные издревле, сиречь церковью канонизированные образцы некоторых икон?

— А разве есть такие?

— Как же. Без них мы не ездим. Без образцов святое дело нельзя делать. Сейчас покажу. Хорош, скажем, Христос у Тициана или там Гвидо Рени, или же Богородица Рафаэля. Великие творения, что говорить. Но у нас другие модели существуют, свои, древнерусские. — Северьян Светлозаров раскрыл синий с висячим замком сундучок и стал выкладывать на столик листы с контурными изображениями разных святых и троицы. — Разуметь надобно, Николай Васильевич, мы это берем за основу, а красочно расписываем, как бог на душу положит, не искажая святых ликом.

— Видать, вы, действительно, не с бухты-барахты, а настоящие! — сказал Шляпкин, разглядывая рисунки на листах. — Эти листы для вас как бы выкройки для портного...

— Вот именно, — согласился Северьян. — Выбирайте по своему вкусу: чего хотите, то и будет сделано, да не как-нибудь, а на позолоченном фоне в шесть-семь красок. Мы так делаем: вот, скажем, главные, крупного плана фигуры, почти во всю ширину и длину иконной площади расписываю я. А вокруг, по краям миниатюры, сюжетные картинки из ветхого или нового завета, это делает Евграф. Он тонкий мастер, таких у нас мало. У хороших мастеров, в Москве, в Строгановском учился. Я же самоучкой дошел до своего мастерства. Но зато уж в древнем духе изобразить могу, пожалуй, Евграша меня в моем деле не заменит. Так, один добавляя другому из своего таланта, мы и делаем на славу себе, на радость заказчику, а богомольцам на милость божью.

Шляпкин посмотрел все листы, выложенные Северьяном. Отобрал из них три для триптиха, спросил:

— А какого размера можете нарисовать?

— Это делается по желанию заказчика. Можно формату с папиросницу, а можно хоть с амбарные двери. Евграша, покажи господину Шляпкину свои образцы иконок.

— С удовольствием! — Боголюбов, оперев свой сундучишко, порылся в белье и стал доставать одну за другой малого размера многокрасочные, изящно сделанные иконки на дощечках, подбитые снизу алым бархатом.

— Вот мои изделия. Подобными сюжетами сретений, крещений, рождеств, воскресений, воздвижений и вознесений и прочих праздников я обрамляю написанное Северьяном Петровичем. Он пишет грубоватой кистью из свиной щетинки, а мне, в тонком деле, кисть нужна особенная, из шерстинок кошачьего или беличьего хвоста. Вот посмотрите... — Евграша достал пачку свернутых петушиных перьев с тонкими кисточками на концах. — Таков мой инструмент. Ну, еще тушь и всех оттенков краски своего секретного изготовления: ни с кем не делюсь, никому не показываю. Мое — есть мое. Кое-что от людей перенял, а больше всего сам достиг и постигаю...

— Отличная работа! Ни в жизнь не поверил бы, что ты, извините, вы, такой молодой и совсем на вид простяга, а сможете такое делать. Удивительно!.. — восторгался Шляпкин, разглядывая Евграшины иконки. — Оказывается, вас голыми руками не тронь, таланты!

— А как же, Николай Васильевич, из-за этой ремесленной особенности нам и некоторые странности позволительны и причуды простибельны. Я, например, пишу иконы и пою себе под нос псалмы царя Давида. И хоть сто человек у меня за спиной стойте, только за руки меня не дергайте, я ни на кого не обращаю внимания, делаю свое дело не торопясь... А вот у Евграши другой характер: он работает в уединении, заперти, никого к себе не пускает и никому не показывает свою работу до тех пор, пока сам не признает ее законченной. Одно нас сближает и роднит в работе: не выносим, не терпим ни взаимных, ни с чьей бы то ни было стороны указов да показов. Художники мы, люди искусства, а не плотники, не портняги и не лапотники. И заказчик или подрядчик должен это знать о нашем нраве и нашем праве.

— Хорошо, учтем при случае, — промолвил Шляпкин задумчиво, — учтем. А как ваши подряды оформляются с заказчиком?

— Обычно, — ответил Северьян. — Пишем условие, вам лист, мне лист, оплачиваем гербовый сбор, копию даем в волостное правление старшине. В условии указываем, что делаем, за какую сумму и, приблизительно, в какой срок. Иногда выговариваем харч за счет заказчика или делаем добавку на питание.

— Ясно, господа. Вам понадобится помещение. Оно есть у меня. Я

с семьей на все лето перебрался из нижнего этажа наверх. Внизу три свободных комнаты: одна вам для жилья, две других для работы. Запинки ни в чем не будет. Делать, так делать на славу!

— Никакого риска, Николай Васильевич, — возразил Северьян, — будьте в нашем деле благонадежны: мы по этой части — Евграша пятнадцать лет, а я — все сорок подвизаюсь. И еще замечу не хвастовства ради: оба мы с Евграшей люди богобоязных правил, ведь не веретена делаем, не лапти плетем. Малюем и побаиваемся бога-то, как бы он за кошунствие богохульное в чем нас, грешных, не приметил. Так мы нетрезвой рукой кисти не касаемся. Оба некурящие. И слова худого, матерного на своей работе уж никак не пророним. И кажинный годик на исповедь ходим и причащаемся. А изделия, которые для храмов пишем, те обязательно через водосвятное освящение проходят и в храмовую книгу записываются: «Таких-то изографов, сия святая икона тогда-то, там-то произошла через молебное освящение». У нас на этот счет строгий порядок...

— Ладно. Договорились. Сходите к кассиру: не вернет ли она вам переплату за билеты? Ведь до Тотьмы еще сутки езды. А я пойду погляжу, как там мой товаришко. И поговорю, чтобы матросы крючьями тюки с ситцем не порвали... — сказал Шляпкин.

Когда он вышел, Северьян тихонько, полупешотом спросил помощника и пайщика:

— Как, Евграша, думаешь, если среднего размера, тринадцать на девять вершков, возьмемся триптих дейсусный писать, сколько мы с этого типа должны содрать за работу?

— Не меньше трех «катенек». И чтоб мне помещение было отдельное, без постороннего глаза, триста рублей, ни гроша меньше. И договорись насчет приварка; чтоб нам ежедневно чугунок щей был и мяса во щах не меньше трех фунтов...

— Есть такое дело...

Скоро пароход подошел к селу Шуйскому, раскинутому по высокому правому берегу Сухоны.

Шляпкина встретили жена, упитанная женщина с двойным подбородком, и дочь — великовозрастная деваха с полным набором крупных и отчетливых веснушек на лице, видимых за сто шагов. Тут же появился приказчик, племянничек Шляпкина, парень лет двадцати, подвижный и вертлявый. Он на случай выгрузки доставленных товаров подогнал к пристани четыре нанятых подвод с дровами местных, промышляющих извозом мужиков. Мужики почтительно кланялись купцу и почему-то без надобности покрикивали на безропотных лошадей, лениво ожидающих себе работы.

Шляпкин проверял доставленный груз, повелительно и деловито распоряжался, что и куда складывать. Северьян и Евграша уселись неподалеку на бревне. Поставив перед собой дорожные сундучки, они потрошили селедку, закусывали и терпеливо ждали, когда купец закончит сутолоку и позовет их к себе, как о том договорились.

Село приглянулось богомазам: три церкви, множество крашенных домов в два этажа с железными крышами, вывески над торговыми и прочими заведениями свидетельствовали о зажиточности и даже о богатстве жителей.

— А теперь, господа-товарищи, мои попутчики и подрядчики, пойдемте ко мне, — пригласил их Шляпкин, когда убедился, что все товары с парохода сгружены, а за доставкой к месту проследит приказчик.

Дом Шляпкина, бывшего Тряпкина, находился в центре села, ничем особенным не выделялся из десятка таких же купеческих, матерых и довольно веселых с виду домов, расположенных в ряд окнами на Сухону, на ее левый берег с заливными лугами и бескрайними лесами. В первом этаже размещалось трехкомнатное с кухней жильё, рядом за стеной — торговое помещение: окованные листовым железом ворота с внушительными запорами, два окна с железными решетками и ставнями. Во всю стену, на серебристом фоне, из полуаршинных букв два золотых слова

«ТОРГОВЛЯ ШЛЯПКИНА».

Войдя в нижнее свободное помещение, Светозаров и Боголюбов быстро прикинули в уме, что лучших условий для жилья и для их работы нельзя и требовать: места вдоволь, света и тепла тоже, и даже на кухне есть добавочная печка с чугунной плитой, весьма удобной для приготовления красок, олифы и чего угодно, потребного иконописцам.

— Оставайтесь, располагайтесь, скоро поспеет баня. Раз обещал — угощу! — сказал хозяин, уходя наверх, в летнее жильё.

— Очень добр, — сказал Северьян Петрович, обращаясь к Евграше. — Я займу большую комнату в шесть окон, а ты выбирай себе любую из этих двух боковых. Обе хороши, обе изнутри и снаружи запираются медными врезанными замками и шпингалетами...

— Я вот эту, где нет других вещей, а только стол и два стула, по мне хватит, — согласился Евграша.

Задолго до сумерек шуйский купец повел богомазов в баню, предвкушая, как им понравится исконно русское угощение.

Шляпкин не зря хвастал и гордился своей баней. Она стояла этого: воды — хоть залейся, жару-пару на целый пароход хватит. Пар от каменки, сдобренный хлебным квасом, поражал воображение Северьяна и Евграши.

Все трое, раздевшись, хлестали себя распаренными прошлогодними венниками. Шляпкин на верхнем полке размахисто, не боясь страшной жары, хвостал себя по «кукоркам», по заплечью и охал от удовольствия. На втором полке, ниже, более осторожно и попеременно друг друга тузили венниками по спине художники. Правда, потолочины от пара друг приплясывали, но двери в бане открывало нараспашку каждый раз, как плескали на каменку очередную шайку горячей воды или квасу.

— Ну, как? Хороша?

— Хороша, Николай Васильевич, до костей прошибает. Спасибо, угодил в самую жилу, — отвечал Северьян хозяину.

Мысль при открытых дверях. Дышалось легче. Евграша, окатившись из шайки с головы до ног, спросил:

— Николай Васильевич, а епископ-то на котором полке шпарился?..

— На нижнем, что и вы, на широких липовых досках. Разве он выдюжит верхний? Кожица на ихнем теле, что те бумажка тонкая, белая-белая, хоть пиши...

Северьян погладил ладонью широкие, потемневшие от времени и испарений липовые доски, прикинул вдоль и поперек вытянутыми большим и средним пальцами, сказал:

— Этих двух досок, Николай Васильевич, вполне на трипяти хватит. Других и ставить нельзя. Вот и Евграша не даст мне соврать. Липовая доска для икон — самое лучшее дерево. Кипарису у нас нет. В хороших-то монастырских мастерских, там все больше кипарисовые, потому как на кипарисовом кресте Христос был распят...

— Так, так, а эти липовые, поди-ко, тем и подходящие, что на них

голый архиерей ворочался? — съязвил Шляпкин, пока не намереваясь уступать доски для писания икон.

— Совсем не в этом дело, — возразил Евграша и обоснованно растолковал: — Эти дощечки, по-настоящему их обработать, скрепить шпонами, загрунтовать прочно наклеенный холст, тогда наша работа выдержит хоть триста, хоть пятьсот лет! Это доказано и Рублевым, и Дионисием, и Симоном Ушаковым, и другими — все они писали на липовых досках. Да уж что и говорить, Николай Васильевич, — продолжал Евграша в предбаннике, натягивая на себя прогретые над каменной портки, — для бани досок не жалели, а для святого дела тем более не жалейте, замените их березовыми, свежими. Ведь нам только — правильно рассчитал Северьян — две штуки и понадобятся для триптиха.

— А если четырех Николаев еще малевать?

— Мы тех, Николай Васильевич, на холсте, на подрамниках сработаем...

После бани и крепкого чая с медом художники засветло легли спать в отведенной им комнате, внизу, на соломенной широкой постели. Спали беспробудно до утра. На улице пастух походя забарабанил в доску — они не слышали, в двух церквах звонили в малые колокола — они и этого не слышали. Проснулись, когда над ними, вверху, хозяин стучал кулаком по столу, кого-то ругая отборно и витиевато. Даже хозяйка взмолилась:

— Коля, ты хоть при дочери-то воздержись. Ты же гильдии купец, а не пьяный сапожник, не извозчик. Да напиши ты этому Бурлову, все утрясается. Не станет же богатый человек за сто рублей свою совесть продавать. Садись и пиши!

Шляпкин и так и эдак вертел перед глазами сторублевую «катеньку», обнаружив, что она явно фальшивая, о чем даже на кредитке после слов: «За подделку кредитных билетов виновные подвергаются лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу» — сказано: «Наши не хуже ваших».

Успокоившись и со злости плюнув в граммофонную трубу, Шляпкин присел к столу, вытащил на кончике пера из никелевой чернильницы дохлую муху, ругнулся, вытер перо, снова макнул и начал:

«Господину Бурлову — владельцу кожевенного завода в Вологде.

Милостивейший государь!

Пишет вам по необыкновенному делу известный Шуйской волости купец 2-й гильдии Н. В. Шляпкин. Всего два дня назад я сдал на ваш склад кож сырых коровьих, бычьих и конинных, а также овчин — всего на сумму две тысячи сто пятьдесят рублей. Деньги получил сполна сотенными бумажками. В числе их одна оказалась явно фальшивая. Тут был недосмотр и с моей стороны и, надо думать, не очень добросовестно отнеслись и ваши приказчики в конторе, когда я получал эту сумму. Милостивый государь, я не захотел обращаться к полиции с кляузой. Решил прямо к Вам, прилагая при сем поддельный билет, прошу Вас возместить подлинными полновесными на указанную сумму. Все-таки сто рублей — это не козья морда и не баран начихал, а в переводе на хлеб насущный равно ста пудам ржаной муки. Жду вашего благодеяния и надеюсь.

Н. Шляпкин. 2 мая 1910 года.

Письмо с фальшивой сторублевкой Шляпкин аккуратно застрочил на швейной машинке в коленкоровый пакетик, затем законвертовал, сходил к пристанщику, сделал пять сургучных нашлапок, припечатал орленой стороной медного пятак и в то же утро отправил пакет с надежным

попутчиком в Вологду для передачи лично самому Бурлову. Попутчиком оказался хороший знакомый Шляпкина боцман парохода «Преподобный Савватий», их шуйский паренек Мишка Базлеев.

Отправив пакет и окончательно успокоившись, Шляпкин встретился с богомазами и, не откладывая дела, стал с ними договариваться и заключать форменное условие заказа на триптих, состоящий из трех икон равного размера.

Он был удивительно покладист и сговорчив по всем пунктам. Согласился уплатить за триптих триста рублей с добавкой по полтине в день на хлеб, мясо и приварок. Пользуясь добротой Шляпкина, Северьян осторожно, деликатно и убедительно стал доказывать, что пока будут просыхать покрытые паволокой и левкасом липовые доски для икон, у него и Евграши выберется свободное время делать что-то другое, чтобы не сидеть сложа руки.

— Давайте, Николай Васильевич, сразу условимся на второй заказ. Сделаем за невысокую цифру: Николу милостивого — за тридцать рублей, государя и Гоголя по десять рублей, портрет с натуры вашей персоны до пояса — двадцать пять, с ногами, столиком и букетом цветов — сорок рублей. В порядке премии, бесплатно изобразим вид из окон вашего дома на Сухону и заречный лес или нарисуем на холсте ваш дом с фасада, с захватом боковой стороны с балконом и террасой. Работы на целое лето до осени...

Шляпкин на минуту задумался. Соображал он не о цене за работу, он верил, что художники его не подведут и что цена по второму условию приемлема. Лишь бы Бурлов не отказался оплатить отправленную фальшивку.

— Хорошо! Я согласен. Но мой портрет лучше рисовать не в полный рост, а до пояса, и не с натуры — натура устарела — а с фотографии, каким я был в полном расцвете сил, лет двадцать назад.

— Как хотите, можно и по-вашему, — согласился Северьян.

И они ударили по рукам. Северьян с Евграшей получили сторублевый задаток, сделали мольберты. Палитры, кисти и краски у них было в достатке при себе. Бережно выломали в бане две широких, в сажень длиной, липовых половицы, стали выпиливать и сколачивать на торцовые шпоны определенного размера доски для триптиха. Можно бы соединить доски быстрее и проще, поперечными креплениями. Но Северьян счел нужным делать так, как хорошие мастера делали в петровские времена, — аккуратно пропустить шпоны по торцам досок сверху и снизу. Затем они обтянули доски полотняной паволокой и загрунтовали толченым мелом на рыбьем прочном клею, что по-ихнему называется — левкасом. По левкасу гладили-лощили костяной «мостолыгой», пока не убедились, что поверхность готова к просушке, а затем к планировке контуров, позолочению фона и ко всем прочим процессам живописания.

Пока просыхали доски для триптиха, Евграша сколотил подрамники и натянул на них грубоватый холст для «четырех Николаев». Северьян начал украдкой от Шляпкина писать его портрет по фотографии. Он хотел поразить воображение хозяина неожиданностью, умением и быстротой, и это удалось через несколько дней...

Между тем, вологодский кожевник Бурлов с нарочным, не доверяя почте, прислал Шляпкину ответ, подробный, не официальный, не на коммерческом, фирменном бланке, а на простом листе курительной бумаги, небрежно написанный карандашом.

Письмо было надорвано в нескольких местах, дабы получатель понял, что после прочтения письмо это подлежит уничтожению.

«Дорогой коллега и милостивый государь Николай Васильевич! — писал Бурлов. — Вы правильно поступили, что не связались по этому дурацкому поводу с полицией. Кроме канители, допросов и взяток (чтоб концы-концов от нас отвязались), ничего разумного не получилось бы. Всю сторублевую давайте разделим пополам: 50 руб. я прилагаю при сем письме. Если не согласны, дошло и еще полста. Я не уверен, что Вас надули мои приказчики. Все они опытные, аккуратные, ужели могли опростоволоситься, от кого-то принять и Вам, с намерения или ошибочно, всучить фальшивый сторублевый кредитный билет?»

В долголетней практике нашей почтенной фирмы, случалось, перепадали иногда оловянные рубли и бронзовые десятирублевки, но такая значительная кредитка, цинично дополненная словами — «наши не хуже ваших», попадает мне и приказчикам моим впервые на глаза. Показывал я сей злополучный билет бывшему управляющему моего завода Н. Ф. Шолыганову, ныне имеющему в Вологде два собственных дома и кожевенную торговлю, — он, понимающий в таких делах, внимательно через лупу разглядел и определил: бумага на ощупь даже чувствуется, что иного происхождения, не для кредитных билетов, а для векселей пригодная. Мелкие слова специально отпечатаны в типографии не вызывающими подозрения литерами. Слова: «наши не хуже ваших» добавлены нахально от руки тушью. Все рисунки, как Екатерины Второй, так и полуголого мужчины и виньетки, — все нарисовано мастерски, точно. Чуть заметный, если на свет смотреть, водянистый портрет государыни, по словам Н. Ф. Шолыганова, изображен не четко, но все же искусно, вероятно, луковым соком в смешении с горячим молоком и просушен на солнце... Одним словом, можно сказать, работа чистая. И я не стал обращаться в полицию, пустое дело. Фальшивку сжег над свечкой, и, когда сжигал, водянистый, незримый портрет Екатерины выступил явственно. Впредь советую при получении денег не только пересчитывать количество, но и обращать внимание на качество билетов.

4 мая 1910 года.

С почтением — Бурлов.»

Ответ кожевника Бурлова настроил Шляпкина на благодушный лад. Он повеселел, не столько обрадовавшись полусотне рублей, сколько самое полупризнание вологодского миллионера порадовало его. Письмо он не порвал, а бережно, вместе с конвертом, положил в несгораемый сундук, привинченный к полу в горнице второго этажа.

В добром настроении застал Шляпкина Северьян Светлозаров, придя в магазин с фотокарточкой сорокалетнего ее владельца.

— Скажите, Николай Васильевич, какого цвета у вас были глаза четверть века назад?

— Откуда я знаю? Забыл. А разве они другие стали?

— Конечно.

— Спроси жену. Василиса! — крикнул Шляпкин, — где ты? Подь сюда... Вот художник спрашивает, какие глаза у меня были, когда я снимался на эту карточку?

Василиса, тяжело ступая по приступкам лестницы, спустилась в магазин.

— Господи, какой пустяк, — отозвалась она с половины лестницы и, попыхтев, опираясь на перила, повернула обратно, — у меня там пироги подгорают, а ты о глазах. Помню, с желтизной были, каренские, как у дохлого окуня...

— Лучшего сравнения не подвернулось на язык? Дурило в юбке! — сердито крикнул ей вслед Шляпкин и, подавая фотоснимок Северьяну, сказал: — Раньше я слышал от нее, что у нашей дочери Татьяны глаза мои, а веснушки бабушкины. Рисуи с Танькиных глаз.

— А какого цвета вся эта вышивка на рубахе? — домогался художник. — Надо, чтоб натурально.

— Это я помню: моя любимая праздничная рубаха. Пятнадцать лет носил. Вся расползлась от ношения, а вышитый Василисой нагрудник в три вершка шириной куда-то запропастился. Крестики были красные, звездочки — зеленые, а эти цветочки-лопушечки желтые и синие. Не суть важно: главное — выражение лица, властное, стремительное, чтоб видно было всякому: у Шляпкина голова не мякиной набита...

Северьян старательно работал над портретом заказчика. Евграша, по своей молодости, не был так настойчив и усидчив. В отдельной комнате, сначала на бумажных листах, он делал планировку, набрасывал контуры будущих миниатюр, которые должны будут разместиться по краям всех трех икон, составляющих продуманный триптих. Нередко он выкраивал минуты отдыха: дверь на ключ, и, выбегая на улицу, садился на холодный синий камень вблизи пристани, любовался на Сухону, на проходящие пароходы. Прислушивался к шумным разговорам прибывающих и отбывающих, встречающих и провожающих. Ему здесь было хорошо: бойкое село на красивом месте; заработком бог не обидел; умением делать то, что другим недоступно, он мог не только гордиться, но и надеяться на божье благоволение во все дни трудовой жизни. И хотелось Евграше не только казаться, но и быть добрым: ребятишкам он фунтами раздавал леденцы в фантиках с загадками; нищих удивлял своей щедростью, без просьб, сам окликал их:

— Эй ты, богова старушка, на-ко копеечку, да помолись за Евграфа Боголюбова...

— Спаси ты бог, родименькой...

— Эй ты, странничек Христов, далеко ли путь держишь?

— К Сергию в Троицу, голубчик, а то и до Сарова доплетусь...

— На-ко тебе гривенничек, да поставь там свечку и, перекрестясь, помяни во здравии Евграфа.

— А ты запиши имечко свое, вот на бумажке. У меня многие будут помянуты. Помилуй ты, господи. Сразу видно — доброй души человек, хоть и не старый...

В воскресные дни оба художника не пропускали обедни. Во время службы переходили с места на место, то на фрески поглядывали, то на иконы, не скрытые жестяными и медными окладами.

Приближалось начало лета. Сбыла вода в Сухоне, пристань отодвинулась и спустилась ниже. Пароходы перестали ходить до Устюга, кое-как до Тотьмы.

Северьян закончил портрет Шляпкина. Пока не было багета, портрет висел без рамы в магазине, просыхал и привлекал публику поглазеть на искусство отходников.

Евграша за три дня изобразил Гоголя. И вот доски для триптиха были готовы. Северьян, благословясь, приступил к писанию центральной фигуры — Христа. Тонкой кистью он набросал контуры вседержителя. Шляпкин привел попа.

— Посмотри, батюшка, так ли начинается?

— Не начало дело венчает, а конец. По началу нельзя судить, — ответил поп и, взглянув на набросок, заметил: — Христа по-разному рисо-

вали и рисуют и прежде, и ныне. Однако, то добро, что Северьян, как видно, набил руку на этом. У него из-под кисти выйдет Иисус худеньким, испитым, и губы его, сжатые ромбиком, продольно, как бы свидетельствуют слова акафиста «Иисусе сладчайший, помилуй нас!»

— Угадали, отец Даниил, угадали! — воскликнул радостно Северьян, — вот именно, изображу его сладчайшим, не страдальцем за грехи наши, а сладчайшим.

— Пальчики, персты господни, вроде бы тонковаты, Северьян. Головушка натуральная, а пальчики, как макарончики...

— Толще нельзя, — запротестовал художник. — Христос не пахарь и не кузнец, откуда быть ему с пальцами обыкновенными? Он всю жизнь не работал, а только проповедовал, учил, чудеса творил. Гляньте на все распятия, всюду не ахти какая туша, на некоторых ребра пересчитать можно. Вы, отец Даниил, потом судите, когда будут лики готовы к освещению, когда пожелает этого наш работодатель, благодетель Николай Васильевич.

Шляпкин шепнул попу:

— Не для себя стараемся, намерен в дар храму преподнести 19-го февраля 1911 года.

— Разумно, очень разумно, Николай Васильевич! — похвалил поп. — Достоинство вечной памяти будет ваш дар. Не торопите мастеров.

Пришлось в то лето Шляпкину пошевелиться. Оставлял в магазине торговать одну Василису, плотную и тяжеловесную супругу. Дочь и племянника отправлял на лодке с товарами по Сухоне, в береговые деревни. Сам возами развозил в воскресные дни к местам, куда собирался народ. Торговал он в передвижном балагане ситцами, материей, сладостями и табачными изделиями. Спешил выручить вложенные в товар деньги и снова пустить в оборот. Ездил он в Святогорье, в Биряково ездил, на Двину и всюду, где только случались праздничные сборища. Не валилось торговое дело из рук Шляпкина. Ручейками стекалась прибыль в один кошель. Денежные излишки от оборота — в банк Вологодский, в Питере вклад; не даром лежат, проценты набегают. А на кого богатство копить? Сыновей нет. Одна Татьяна. Ее годы лихие, давно замужем быть. Но богатые не сватаются, а за бедного отдать зазорно.

Интересно, что собою представляет этот самый Евграф Боголюбов? Руки золотые — факт. Но все же бродячий элемент. Сегодня здесь, завтра там. А с нашей Татьяной он поговорить любит, слово за слово родит, и все с вежливой ухмылочкой. Да и она с ним ляды точит о том, о сем и ни о чем. Как водится при первом знакомстве. Беда, ему уже за тридцать. Такие не очень-то влюбляются. Разве он главную выгоду поймет: Танька — одна-одинешенька, ни братьев, ни сестер...

Думы о будущем волновали Шляпкина. Пророков в Шуйском Междуречье не было. Откуда знать, что через каких-нибудь семь-восемь лет всежитое кончится крахом, а жизнь богачей пойдет прахом...

Почти каждый день, когда не был в отъезде, Шляпкин заходил к Северьяну.

— Ну, как подается?

— Понемножку, Николай Васильевич.

— А Евграфий все заперти колдует, втихаря?

— Не колдует, а священнодействует. У него свои секреты составления красок из толченого камня. Вот уже из пятнадцати блюдечек малует миниатюры вокруг законченного мною Спасителя...

— Посмотреть бы...

— Евграша! — слегка постучал в дверь Северьян, — не спишь, однако? Хозяин пришел, вынеси сюда Христа, покажи ему свою работу.

— Минутку, минутку! — откликнулся Евграф Боголюбов и, сняв с мольберта икону, вынес ее в большую светлую комнату, поставил на освещенное солнцем место.

— Любуйтесь, Николай Васильевич, но тут еще многонько дела.

Икона блестела позолоченным фоном. Сладчайший Христос выглядел умильно и весело. И с какой бы стороны Шляпкин ни разглядывал, всевидящий бог следит за ним, словно бы поводя глазами.

— Удивительно! — восторгался хозяин, — как это вы смогли такие глаза сделать?

— Уметь надо, — отвечал Северьян. — Моя работа зиждется на подражании древним мастерам. Ее можно издали глядеть. И ни в коем случае не портить ризой, не сковывать, не принижать никаким металлическим одеянием. Неприкосновенна, под стеклом, она должна быть в киотах хранима. Века простоит, и не всяк может догадаться о ее возрасте. И в этом наша хитрость. Неопытный ценитель через пять-десять лет может заключить, что триптиху добрых двести лет. Такая ошибочность весьма высоко поднимет историческую ценность... А теперь, Николай Васильевич, со тщанием поглядите на Евграшкины труды, на боковые изображения.

Шляпкин приник к иконе. Евграф придерживал ее, пояснял простыми словами сюжеты:

— Это вот Троица в манере Рублева, три ангела. В нижней части, в центре, несение креста на Голгофу, распятие и воскресение. Справа, в углу, господь хлещет «вервием», то есть веревкой, торгашей, занявших под рынок храм. Хлещет и приговаривает, помните: «Дом мой, дом отца моего, вы, окаянные, превратили в базар, в вертеп торговли. Убирайтесь вон отсюда, к чертовой матери!» И, раскидав их прилавки и товары, Христос выгнал фарисеев и торгашей. Очень он их не любил...

— Н-да, гм, это как же? Мне такое событие не совсем ндравится. Знаю, в Евангелии сказано, а здесь не к месту. Нельзя ли другое изобразить?..

— Можно, можно, — поспешил ответить Евграша, — соскоблю «изгнание купцов из храма», подгрунтую заново, и на этом самом месте будет «воскрешение Лазаря».

— Другой разговор. Делай в час добрый, Евграфий, вижу, работка у тебя очень тонкая. Тут не то что у Северьяна, отошел в сторону да издали поглядел. В твоём деле глаз да глаз нужен! Другой талант, совсем другой.

— В единении наша сила, — ответил ему Евграша и, обхватив икону, удалился в отведенную ему комнату, щелкнул ключом.

— А я, Николай Васильевич, уже Ивана Крестителя кончаю, — похвалился Северьян, — извольте тоже посмотреть. Попросохнет малость, пойдет на доделку к Евграше. Он тут добавит сретение, введение, крещение Иисуса, въезд Христа на осляти в Ерусалим... А пока вот вам главное лицо Крестителя...

На позлащенном фоне изображен известный по новому завету Предтеча. В отличие от Христа, борода у него была длинней, всклокочена, не причесана; поворот головы слева направо, взор в сторону, где должен быть помещен средний образ. В левой руке у Крестителя пустая чашка. Вид у Предтечи усталый, измотанный. Нет бодрости в заплаканных, утомленных глазах.

Шляпкин смотрел и молчал, не зная, что сказать. Северьян его вырубил:

— Иоанн кажется неприглядным. По правилам иконного писания,

ему полагается быть таким. Жил в пустыне, одежду носил из недубленных звериных шкур. Питался медом от диких пчел и акридами...

— А что такое акриды? Плоды, орехи или что?

— Акриды — сиречь муравьиные яйца, нет, кажется, что-то вроде саранчи...

— Тьфу, какая гадость... А зачем у него сахарница в руке?

— Не сахарница, а чаша, символическая купель крещения младенцев. Евграша в эту чашу дорисует на свой лад малое дитя. Так положено.

— И все это вам, иконникам, надо знать и не ошибиться.

— А как же, Николай Васильевич, простите за грубость, мы на своем деле собаку съели. Вот, скажем, вид у Предтечи пришибленный, а от чего? Чувствует, отрубят ему голову и отдадут головушку за пляску какой-то шлюхе. История к святым людям часто бывает злая, насмешливая и беспощадная. Вот закончу его, возьмусь за трудную работу: Богоматерь должна видом своим печальным выражать тревогу за сына, которому угрожает казнь на кресте... В нашем деле искусства все есть: история, психология и мастерство, это не то, что в кузнице: тетя дует, сын кует, мама жару поддает. Наше дело похитрей, а особенно у Евграшки!.. Правильно вы изволили заметить — в его трудах глаз да глаз нужен. Уединение и вдумчивость и чтобы никаких помех. Нельзя ли, Николай Васильевич, нам еще по сотенке вперед? Надо родным послать. Не бойтесь, не сбежим, если хотите, можем паспорта свои вам сдать...

— Ну, что вы, Северьян Петрович, зачем паспорта? У нас с вами есть условие. Ладно. Двести выдам. За остальную работу, то бишь за всех четырех Николаев, рассчитаемся по окончании...

Время шло, и дело подвигалось. Праздники были веселые: после троицына и духовая дня хоронили убиенных в драках парней. Кто-то ревел, идя за гробами. Кто-то уныло провожал на пристань конвоируемых убийц, направляемых в вологодскую тюрьму. Никогда еще Шляпкин не торговал так бойко оконными стеклами. В пьяные праздники самое веселое дело — лупить дрекольем по рамам. Убыток невелик, а звону и страху — хоть отбавляй. Да и порядок простой исстари заведен: разбитые окна ставил не тот, кто пострадал, а тот, кто с пьяных глаз разошелся во всю натуру и «пошутил» колышком. Да еще с него на «мировую» четвертная водки. И снова соседи друзья — водой не разольешь. Уряднику на таком происшествии делать нечего, мировому судье — тем более. Четверть водки — закон и порядок. Хуже обстояло с порезанными в драках, побитыми железными тростями, гирями двухфунтовыми на ремешках и чем под руку попало. Тут примирение считалось делом постыдным, осуждалось, как трусость. Потерпевший считал себя и обязанным отплатить тем же, отомстить и даже в большей мере. Закон евангельский — если ударят тебя по правой щеке, подставляй левую, — в деревенских драках не имел силы. Наоборот: «око за око, зуб за зуб». И очи вышибали и зубы сокрушали, всякое бывало в праздничное время. В такую пору богачи деревенские и сельские побаивались пускать на гульбища своих сыновей: в драках им перепало в первую очередь, и тут уже было что-то не из зависти, а от ненависти.

Однажды в конце лета, когда у богомазов работа приближалась к концу, загулял малость и Евграф, увлеченный праздничным весельем. Северьян дописывал портрет Николая Второго с обложки сытинского календаря. Иногда он отвлекался, глядел из окна на гуляющих парней и девчат, на танцующих и пляшущих, на поющих пристойные и орущих

скабрзные песни. Если вдруг ни с того ни с сего начиналась драка, старик богомаз прятался за простенок и шептал:

— Пронеси, господи, хоть бы Евграшку там не полоснули ножиком...

Евграф возвращался цел и невредим, но пьяный в стельку, как сапожник. В таком виде Северьян не допускал его до дела, без упрека велел идти почивать, приговаривая:

— Дрыхни, Евграф, пьяный проспится, дурак — никогда...

Триптих был закончен. Только Богородица стояла еще на мольберте у Евграши, просыхали написанные по краям иконы сюжеты малых размеров: успенье Богородицы и какие-то угодники в позолоченных овалах.

Спал спяна Евграша крепко, непробудно, с храпом и пришепыванием губами. Улегся на соломенную «перину» не раздеваясь, позабыв запереться на ключ. Из-за этой его забывчивости и произошло то, чего Евграша аккуратно и ловко избегал. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным...

К спящему Евграше зашел в комнату Шляпкин.

— Вот наливался, растяпа! — буркнул он, покосившись на пьяного, и стал рассматривать многокрасочные, со вкусом и умением написанные вокруг Богородицы миниатюры. — Ведь действительно талантлив, черт! Пятнадцать блюдецек краски! Как он не запутается!.. И, кажется, холостой, паршивец. Такого бы захомутать в зятя. Таньше нашей лучшего жениха подобрать трудно. Взять бы его в дом, в приемыши... И пусть себе пишется Шляпкин-Боголюбов. Разве плохо? — И думая так, он подошел к столу, на котором валялись зарисовки, наброски божественных миниатюр и тут же чуть прикрытая чистым листом бумаги, недорисованная сторублевка!

Шляпкин схватил ее со стола и похолодел, затрясся от такой неожиданности. В первые секунды потрясающего изобличения он не сразу догадался, что ему нужно предпринять. «Разбудить сейчас пьяного Евграшку или подождать, когда проснется? Сказать об открытии Северьяну? Бежать стремглав к уряднику, к попу, к старшине и еще черт знает к кому?.. Какой нахал! И почему мне не пришло ни разу в голову, почему я не заподозрил его, когда он на пароходе, разбудив меня, заставил поднять бумажники? Почему я на бурловских честных приказчиков подумал?.. Какой мошенник! Вот тебе и богомаз! Видите ли, ему уединение нужно. Еще бы, открыто сторублевки вычерчивать... Ах, гад! А может быть, он будущий мой зять? Только не это! Государственный преступник у меня под крышей? Пусть спит. Утро вечера мудренее...» Свернув фальшивку, Шляпкин засунул ее в карман жилетки и молча прошагал мимо Северьяна, поднялся по скрипучей лестнице наверх. Там он закрылся в отдельной комнате и стал рассматривать недоделанную фальшивку. Портретик Екатерины написан вне всяких подозрений. Но еще не было сделано портрета водянистого, просматриваемого на свет. К типографски напечатанным словам художник уже поспешил мелкими буквами добавить отсебятину: «Наши не хуже ваших».

— Подлец! Попался, мазурик! Попался крупнейший преступник! Да мне за это — медаль! Во! — И Шляпкин ткнул себя пальцем в грудь, в том месте, на котором положено быть медали за поимку и изобличение преступника...

Ночь прошла в тревожном сне. Шляпкин ворочался на двуспальной кровати. С пеной у рта всхрапывала Василиса. Своим храпом она убаюкала и супруга, заснувшего под утро крепче обычного.

Ночью очнулся от сна Евграша Боголюбов. Зажег лампу. И сразу же к столу... Охваченный ужасом, протрезвел:

— Северьян, а Северьян! — полушепотом спросил он разбуженного богомаза, — Шляпкин заходил ко мне?

— Был, был...

— Что ж, прохлопали, — прошипел с руганью Евграша.

— Думаешь, заметил? — испуганно спросил Северьян.

— Не только заметил, но и захватил недоделанную «катеньку». Давай, смазывай пятки и бежим немедленно...

— Куда бежим?

— Продумано заранее. Знаю — куда. Натягивай штаны, сапоги и айда! Налегке, безо всего. Сундучишки оставим здесь, пальтишки зимние — здесь... Забудем нарочно свои паспортишки. На новых бланках другие будут вернее...

Вышли они из Шуйского ночью. Быстрым шагом добрались до Святогорья. Было у них при себе четыреста рублей чистых денег и три «катеньки» Евграшкина изделия. Хлеба каравай на двоих и больше ничего. На рассвете они пришли в Святогорье, оттуда по лесным тропам и не проезжим в летнюю пору дорогам свернули на запад. На третьи сутки добрались до станции Бушуиха. Переночевали у вдовы. Евграша заполнил новенькие бланки паспортов, купленные где-то у пропившегося волостного писаря. И оба с Северьяном, окрестив себя другими именами — (Северьян стал Иваном Непряхиным, Евграф — Федором Неберухиным), стали обсуждать, куда им податься? Приняли решение согласное, неоспоримое:

— Не ждате же, когда нас спадают в центре России и в кандалах отправят в Сибирь. Едем в Сибирь сами, добровольно...

Тянули жребий. Короткая спичка — Омск, длинная — Томск. Поехали с Бушуихи на Восток Непряхин с Неберухиным промышлять по малым делам, не по святым, не по церковным, а только писать вывески и рекламные объявления. На неизвестный срок скрыли они свои способности и таланты.

Затерялся их след в Сибири...

Утром Шляпкин проснулся поздно. На столе попискивал белый никелевый самовар. Пахло дымком, горячими пирогами. Тишина в доме говорила о полном благополучии...

Но с чего, как начать день, все еще не решил, обдумывал так и эдак Шляпкин. Додумался позвать Евграшу к чаю, к пирогам и... поиграть с ним в кошки-мышки.

«Так ему в лоб и брякну: ну, что, **ваши не хуже наших?** Так, что ли? Мать-перемать, и так далее... Подавай сто рублей, что в каюте заменил. Выкладывай, сучий сын, разбойник...».

«На всякий случай около себя ружье поставлю заряженное. Чего хочешь? Жизни или смерти, или вечной каторги? Говори, собака!..» — Такую страшную речь намеревался обратить Шляпкин к Евграфу.

Василиса спустилась вниз, чтобы позвать Евграфа к столу. Вернулась.

— Да их, Коля, нету никоторого. Одежонка висит, сундучки, иконы — все на месте, а их нету. Может, на пристани, может, у казенки...

— Как — нет? — Шляпкин с ружьем наперевес пустился бегом из дому к волостному правлению.

— Где урядник?

— В Мотыри уехал, там кража...

— А старшина?

— Вчера еще в Митрополье укатил за оброк самовары отбирать у неплательщиков...

Шляпкин бежит на пристань. Пароходы рано утром проходили на Тотьму и на Вологду.

— Не сажались ли такие богомазы?

— Не приметили. Мало ли кто садится?

Шляпкин к попу:

— Отец Даниил, что делать?.. Художники исчезли. Вот-те хорошие христородавцы. Безбожники, мазурики...

Шляпкин со всеми подробностями рассказал попу всю историю, чем, кроме писания икон, занимались эти люди.

— Что посоветуешь, батюшка?..

— Запрягай лошадь и гони в Мотыри за урядником. Закрывай свою лавочку и гони приказчика за старшиной в Митрополье. Немедленно две телеграммы отстукивай в Тотьму и Вологду о задержании, с указанием примет этих проходимцев... Больше им некуда деться: или туда, или сюда укатили. Без урядника не прикасайся к их вещам. Всякая мелочь может навести на след. Бурлову тоже телеграмму с извинением отправь. Это будет честно.

Указания попа Даниила показали Шляпкину весьма благоразумны. Другого ничего лучше не придумаешь.

В первую очередь телеграммы в полицию о задержании беглецов. «Приметы: один лет шестьдесят, с бородой, волосы под горшок. Другой тридцати трех годов, рыжие усы, может остричь, серьезные преступники, изобретатели фальшивых кредитных билетов, что доказано полностью, фамилии Боголюбов Евграф и Светлозаров Северьян. Свидетельствую своей подписью купец 2-ой гильдии Николай Шляпкин».

Бурлову короче: «Приношу извинение полсотни возвращаю переводом изобретатели фальшивого билета известны объявлено полиции. Уважающий вас Шляпкин».

Полиция не отозвалась. От Бурлова поступила по телеграфу послонца: «Впредь не узнав броду не суйся в воду. Бурлов».

К вечеру из недалежней командировки, верхом на взмыленной кобыле прискакал урядник. Не дожидаясь старшины, он сразу к Шляпкину. В понятия пригласили попа, в свидетели — церковного старосту и больше-никого, чтобы не делать большого шума в народе, охочем раздувать и менее важные происшествия.

Присутствующие официальные лица осмотрели нижнее помещение, где подвизались богомазы.

Законченный ими триптих сделан безупречно; хоть стоя молись, хоть на колени падай. Немного осталось дописать и в портрете Николая Романова. Все было готово, за исключением глаз. Под рыжими бровями зияли пустые глазницы. Царь выглядел нелепо. Его, как бы в насмешку, Северьян оставил без глаз. Неожиданная поспешность отразилась и на иконе Николая-чудотворца.

— Эх, царь-батюшка, не доглядел, упустил таких врагов. Лови их теперь, ускачут, как блохи, и затеряются на святой Руси, — с сожалением говорил церковный староста. — Куда же такой портрет государя? Или сжечь, или глаза доделать.

— Убрать! — распорядился урядник. — Там видно будет. Следствие по делу покажет.

Вскрыли дощатые сундучки иконников. Обрадовался Шляпкин: в сундучках среди всякого хлама оказались паспорта бежавших.

— Второпях забыли! Не уйдут никуда!..

— Чепуха! — сказал урядник. — Коль сторублевки делали, то паспорт куда проще. Впрочем, на бланках настоящих. Придется запросить.

по месту жительства, как указано в паспортах. Только сомневаюсь я в правильности данных...

Составил урядник протокол осмотра помещения. Положил в папку паспорта граждан Владимирской губернии Светлозарова и Боголюбова, прошение Шляпкина с объяснением сути дела, туда же недоделанную фальшивку. Однако о письме Бурлова, хотя оно и сохранилось, Шляпкин умолчал в своем объяснении. Но поп намекнул об этом уряднику, пришлось Шляпкину пространно дополнять свои показания.

Следствие завертелось, закрутилось. Все было — и свидетели, и вещественные доказательства. Не было налицо обвиняемых. Неутешительные пришли сведения из Владимирской губернской канцелярии:

«На ваш запрос сообщаем, что среди мастеров иконных дел при проверке не оказалось запрашиваемых Северьяна Светлозарова и Евграфа Боголюбова, имена таковых и фамилии встречаются по метрическим книгам в соборной церкви гор. Киржача, но означенные, преступные, по вашим данным, лица, числятся давно уже умершими и похоронены на городском кладбище: Северьян в 1889 году в возрасте 37 лет, а Евграф Боголюбов скончался в 1884 году в возрасте 7 лет и трех месяцев».

— Темна вода в облацех! — сказал поп Даниил, когда узнал от Шляпкина и урядника о таком ответе. — Где-то, когда-то они отрыгнут, а пока не пойманный — не вор. Ах, Николай Васильевич, каких вы хороших мастеров нашли и каких матерых подлецов из рук выпустили! А триптих отличный, не спорю, но в дар божьему храму принять нельзя, не пушу и в церковь, ибо не легенды священные, а анекдоты смехотворные вокруг дейсуса создадутся...

— Что же мне делать с этими иконами?

— Повесь пока у себя. И еще мой совет: в деревнях нынче строятся кое-где часовни. Советую вам продать триптих в часовню. А старосте часовенному я порекомендую приобрести этот «товар», дабы вывести вас из убытка. Малость святой водой иконы я покроплю, молебен отпоем. И пусть себе православные чтут их где-нибудь подальше от нашего села. На вырученные деньги пожертвуете в наш храм что-либо иное. Скажем, евангелие в серебряном окладе или парочку хоругвей...

Так договорились, так порешили...

С ТЕХ ПОР И ДО 1928 ГОДА — восемнадцать лет — верующие крестились, умиленно взирая на триптих, кланялись, били лбами о дощатый пол, просили у Богородицы ходатайств перед богом, у Спасителя милости, у Ивана Крестителя всего прочего.

Триптих, уцелевший от разрушения, подаренный мне коллекционером Михайлом Степановичем Холодиловым, завернутый в старые газеты, хранится у меня под письменным столом. Иногда я доверительно показываю все три иконы своим приятелям, да и сам с любопытством разглядываю и вспоминаю историю их появления.

Никто еще из видевших не мог точно сказать, когда и какой школы мастерами написан триптих. Одни говорят: «Это петровские времена, а может, еще и раньше». Другие утверждают, что это живопись конца восемнадцатого или начала девятнадцатого века. Но все находят, что созданы иконы в двой руки, разными почерками.

В этом они правы...